

Содержание

Хранитель древностей

Часть первая

9

Часть вторая

121

Приложение

Из записок Зыбина

277

История немецкого консула

303

Комментарии

375

*Памяти Файзулы Турумова,
героически погибшего 22 июня 1941 года
в Брестской крепости,
с почтением и благодарностью
за его подвиг посвящает автор*

Часть первая

Теперь, наконец, мы оживаем, однако по природе человеческой лекарства действуют медленнее, чем болезни, и как тела наши растут медленно, а разрушаются быстро, так и таланты легче задушить, чем породить или даже оживить, ибо и бездействие тоже имеет свою сладость, и праздность, ненавистная сначала, тоже становится приятною.

Что же сказать, если в продолжение пятнадцати лет — великая часть жизни человеческой! — столько народу погибло по разным обстоятельствам, а даровитейшие по жестокости Вождя! — мы, немногие уцелевшие, пережили не только себя, но и других: ведь из нашей жизни исторгнуто столько лет, в течение которых молодые молча дошли до старости, а старики почти до самых границ человеческого возраста.

Тацит. Жизнь Агриколы, 3

Глава первая

Впервые я увидел этот необычайный город, столь непохожий ни на один из городов в мире, в 1933 году и помню, как он меня тогда удивил. Выезжал я из Москвы в ростепель, в хмурую и теплую погоду. То и дело моросил дождичек, и только-только начали набухать за заборами, на мокрых бульварах и в бутылках на подоконниках бурые податливые почки. Провожали меня с красными прутиками расцветшей вербы, потешными желтыми и белыми цветами ее, похожими на комочки пуха. Больше ничего не цвело. А здесь я сразу очутился среди южного лета. Цвело все, даже то, чему вообще цвести не положено, — развалившиеся заплоты (трава била прямо из них), стены домов, крыши, лужи под желтой ряской, тротуары и мостовые.

Час стоял ранний, дорога предстояла дальняя. От станции до города меня довезли, а по городу надо было идти пешком. Но Алма-Ата спала, спросить дорогу было не у кого, и я двинулся наугад. Просто потому пошел, что лучше все-таки идти, чем стоять. Шел, шел, шел — прошел километра три и понял, что кружу на одном месте. Главное — не за что зацепиться глазом, все одинаково: глинобитные заборы, за ними аккуратные мазанки, редко белые, все больше синие и зеленые (потом я узнал, что здесь в белила хозяйки добавляют купорос); крепкие сибирские избы из кругляка, не закрытые, а прямо-таки забитые деревянными ставнями с черными болтами, кое-где рабочие бараки и желтые двухэтажные здания железнодорожного типа — с лестницами, балконами,

застекленными террасами (только закончен Турксиб). И все это одинаково захлестнуто, погружено до крыш в сады. Сады везде. Один сад рос даже на мостовой: клумбы, газон, небольшой бетонный фонтанчик. Желтые тюльпаны, красные и сизые маки и тот необыкновенный цветок с черными глянцевыми листьями, не то багровый, не то красно-фиолетовый, который алмаатинцы приносят из-под ледников и зовут ласково и почтительно по имени и отчеству — Марья Коревна (марьин корень, очевидно).

В другом месте, тоже прямо на мостовой, мне повстречалась рощица белых акаций. Просто повернул я за угол — и вдруг выбежала навстречу целая семья высоких, тонких, гибко изогнутых деревьев. “Восточные танцовщицы”, — подумал я. И они в самом деле всем — лакированными багровыми иглами, перламутровыми сережками (точь-в-точь морские ракушки), кистями белых цветов (точь-в-точь свадебные покрывала), этой необычайной гибкостью напоминали танцующих девушек. От деревьев исходил сладкий, пряный запах, и он был так тяжел, что не плыл, а стоял в воздухе. Солнце еще не встало, а под акациями уже трубили шмели и кружили большие белые бабочки.

Здесь я увидел, что зелень в этом городе расположена террасами: первый этаж — вот эти акации, над акациями фруктовые сады, над садами тополя, а над тополями уже только горы да горные леса на них. Вот сады-то меня и путали больше всего: поди-ка разберись, где ты находишься, если весь город один сплошной сад — сад яблоневого, сад урючный, сад вишневого, сад миндальный — цветы розовые, цветы белые, цветы кремовые.

А над садами тополя. Потом я узнал — они и есть в городе самое главное. Без них ни рассказать об Алма-Ате, ни подумать о ней невозможно. Они присутствовали при рождении города. Еще ни улиц, ни домов не было, а они уже были.

Весь город, дом за домом, квартал за кварталом, обсажен тополями. Нет такого окна в городе, высунувшись из которого ты не увидишь бы прямо перед собой белый блестящий или черный морщинистый ствол. От Алма-Аты до Ташкента про-

ходит большая дорога — день и ночь по ней мчатся грузовики. Но называется она не улица, не шоссе, не дорога, а просто — аллея. “Ташкентская аллея”, — говорят алмаатинцы. И в самом деле, огромный сотнекилометровый тракт — всего-навсего только одна большая тополевая аллея.

Алма-атинский тополь — замечательное дерево. Он высок, прям и всегда почти совершенно неподвижен. Когда налетает буря, другие деревья, гудя, гнутся в дугу, а он едва-едва помахивает вершиной. Не дерево, а колоссальная триумфальная колонна на площади (не забудьте, каждому из этих великанов по доброй сотне лет). Но нет дерева более живого и говорливого, чем тополь. От самых корней до вершин он полон живой мелкой листвой, шумит, пульсирует, переливается серебром и чернью.

А над тополями уже горы.

Отроги Тянь-Шаньского хребта... Кажется, что два мощных сизых крыла распахнулись над городом — держат его в воздухе и не дают упасть. Но в то далекое утро сизыми эти крылья казались мне только снизу — там, где залегали дремучие горные боры, — вершины же их были нежно-розовыми. Кто был на Каспии, тот знает: вот так на заре горят чайки, когда они пролетают над водой.

Я стоял, смотрел на горы, на тополя, на белые акации под ними и думал: куда же идти, ведь здесь никогда не найдешь дорогу. Встало солнце, и хотя люди еще спали за замками, ставнями, болтами и решетками — город уже проснулся. С час как бойко шла переключка петухов. Горланили — один бойчее другого — все дворы города. Не смолкая, чирикал и заливался вишенник. С сухим электрическим треском вспархивала розовая и синяя саранча. Заливались где-то на задах лягушки. Потом я узнал: в городе зверья не меньше, чем людей. В городском парке по вечерам ухает филин. По улицам, как только смеркнется, носятся летучие мыши, иволги кричат и поют на автобусной остановке в центре. На тесовые крыши предместий (их тут зовут по-старому — “станции”) садятся фазаны. Сидит такой красно-желтый красавец и тревожно озирается по сторонам: залетел с прилавка

(так здесь называются травянистые холмы) и сам не поймет зачем. Дикая козочка забегает осенью и ягнется в окраинных садах. Словом, нигде в мире, сказал мне один зоолог, дикая природа не подходит так близко к большому городу, как в Алма-Ате.

Нельзя сказать, чтобы улицы выглядели нарядно. Это еще не была “красавица Алма-Ата” сороковых, а тем более пятидесятых годов: хаты, хатки, странные саманные постройки, где добрую половину дома занимает стена, а окошко находится под крышей; потом вдруг выкатится крепкая, как орех, русская изба с резными подоконниками и широкими воротами, за ней потянется длинная турксібская постройка на целый квартал — масса окон, террас, дверей, лестниц — и снова хаты, хатки. Глина, саман, тес, тростник. Ни бутового камня, ни кирпича. Новых двухэтажных домов мало — старых совсем нет. В общем, мирно спящая казачья станица самого начала века.

И вдруг произошло чудо: я пересек улицу и очутился в совершенно ином городе. Улицы здесь были широкие, мощенные, дома многоэтажные, изукрашенные сверху донизу, к каждому из них вела лестница с огромными церковными ступенями из белого камня. Крыши у этих хором были тоже особенные — сводчатые, и кончались они то шпилем, то цветным куполом, то петухом. И везде резное дерево, белый камень, колонны, узорчатые водостоки.

Здание, мимо которого я шел, растянулось, как мне показалось, на несколько кварталов. Оно походило на старинный пассаж или крытые торговые ряды. Мне почему-то пришли в голову такие слова, как “Деловой двор” или “Славянский базар”. А напротив “Делового двора” стоял самый настоящий дворец Шехерезады, такой, как его рисуют на коробках папирос, — обвитая кружевами громадина с башней на крыше, со множеством окон и широкими узорчатыми дверями — не дверями, а целыми воротами. Так и хочется их распахнуть настезь.

Я повернул за угол и тут увидел знаменитый собор. Мне о нем пришлось много слышать и раньше, но увидел я что-то

совершенно неожиданное. Он висел над всем городом. Высочайший, многоглавый, узорчатый, разноцветный, с хитрыми карнизами, с гофрированным железом крыш. С колокольней, лестницей — с целой системой лестниц, переходов и галерей. Настоящий храм Василия Блаженного, только построенный заново пятьдесят лет тому назад уездным архитектором. Собор стоял в парке, и около него никого не было, только на широких ступенях спал старый казах с ружьем за плечами, в войлочной шляпе. Я постоял, покашлял, вздохнул — старик все спал. Я тронул его за плечо. Он пошевелился, поднял голову, посмотрел на меня и очень чисто по-русски спросил, сколько времени. Часы висели напротив. Мы оба поглядели. Оказалось, что уже пять.

Сторож вздохнул.

— Рано, рано стали летом приходить поезда, — сказал он. (Я был с чемоданом.) — Вы что — прямо с вокзала?.. И пешком через весь город? Здорово! Значит, верст пять отмахали, если напрямик. Нездешний? А-а, нездешний! А куда же вы сейчас? А-а, на Октябрьскую? Ну, ну! Значит, в бывшие номера? Да нет, нет, не закрыты. И сейчас какие приезжающие останавливаются. Есть, есть такие! Их в тысяча девятьсот одиннадцатом году один наш семирек отстроил. Ну как же, все, все знаем! Во время гражданской в них еще товарищ Дмитрий Фурманов проживал. “Мятеж” его читали? Ну вот, как раз про них! А вот так и пройдете — прямо, прямо через парк — и они. Сразу увидите их. Крыльцо такое выдающее, и крыша скатом. Их сразу узнаете. Они среди всех зданий выделяющие. Тоже зенковской постройки.

— Какой? — спросил я. — Зен... зенковской?

— Ну, зенковской, зенковской, — повторил сторож настойчиво. — Вот сразу видно нездешнего. Андрей Павлович Зенков. Он при царизме весь этот город снова выстроил — вот всё это! — Сторож сделал рукой круг. — И собор этот тоже его. И собор, и ряды, и магазин Шахворостова, и офицерское собрание, и благородное собрание, и две гимназии, и суд окружной (там теперь типография) — всё, всё его.

— Как, всё построил один человек? — спросил я.

— Один, один — не десять! — подтвердил он с удовольствием. — Андрей Павлович, инженер Зенков. Знаменитейший строитель был. И теперь еще жив. Но теперь что... А я еще его когда помню! Тогда помню, когда на этом месте ничего не было. Все начисто землетрясение снесло. Одни завалы остались. Я молодой парень был, батрачил. Так нас с лопатами сюда гоняли. Хотели уж на другое место город перенести и с Зенковым советовались, а он отсоветовал. Говорит: “Незачем переносить — строили неправильно, вот и снесло. А мы построим как следует — и будет стоять век. Ни одно землетрясение не шелохнет”. И вот верно, стоит — не шелохнется.

— Так, может, и землетрясений с той поры не было? — спросил я.

— Здравствуйте! А одиннадцатый год? — обиделся сторож. — Страшнейшее землетрясение было!

Земля провалилась, горы разошлись. А что зенковское было, то так и осталось стоять. Даже стекла не вылетели. А вы знаете, какое это строение? Второе в мире по высоте. И ни гвоздя, ни железинки — одно дерево — вот! Что там — никто не знает, может, клей какой. Весь мир удивляется. Иностранцы приезжали — смотрят, ничего понять не могут, как так? Вот что это за здание. А вы: “Землетрясений не было!” Тут такое было, что...

Он махнул рукой, кинул берданку через плечо и пошел вокруг собора.

Так через несколько часов после того, как я спрыгнул со ступенек вагона на алма-атинскую землю, пришлось мне услышать от первого же встретившегося мне старого казаха это имя. “Андрей Павлович Зенков. Знаменитый инженер — тот, кто отстроил город Верный после землетрясения”.

А осенью 1960 года, уезжая из Алма-Аты, я зашел в Центральный музей Казахстана и попросил дать мне снимки всех строений Зенкова. В музее у меня старое и доброе знакомство. Во время оно я пробыл там три года старшим научным сотрудником и делал все, что мне поручали: ездил в экспедиции и командировки, разрывал курганы, описывал

древние черепки, диктовал старенькой, дряхленькой машинистке текстовки ко всем вещам мира, неосторожно попавшим в музей, от николаевской копейки до летучей собаки с Яванских островов, делал еще сотню дел, больших и малых, нужных и ненужных, и в музее меня помнили. Через пять минут сотрудница принесла мне целую гору снимков. Кто-то догадался их уложить в черный конверт из-под фотобумаги. Я раскрыл его, встряхнул, и вот на стол посыпались один за другим виды старого Верного — все, что чертил, рассчитывал и строил Зенков. Я увидел черную весну, бревенчатый мост без перил и свай через тихую грязную речонку, а вокруг тонкие, голые прутья ив, затем деревянное здание офицерского собрания, высокое, нарядное, кудрявое — не то купеческий памятник где-то на Ваганькове, не то фанерная пирамида в парке — терем в русском стиле с высоким-превысоким крытым крыльцом с петухами и деревянными полотенцами; около него остановились бородатые мужики и, улыбаясь, глядят в объектив аппарата. У терема широкие ступени и маленькая дверь в глубине крыльца — это производит впечатление мощи и устойчивости так, как ее понимал архитектор Зенков. Он был очень затейлив, этот огромный ларец, неуклюжий и сквозной, весь увешанный деревянными кружевами и полотенцами.

Еще и еще падали на стол снимки, и вот мелькнул покаптый, тупой (ни дать ни взять мучной ларь) архиерейский дом; выпретенное и лаконичное, как вицмундир чиновника, застегнутый на все пуговицы, здание гимназии (здесь учился Фрунзе); магазин колониальных товаров купца... купца... Я так и не разобрал его фамилии, набранной светлыми металлическими буквами на высокой и крутой, как радуга, вывеске, прочел только, что торгует он с сыновьями.

Удивительно точно и ясно вышла на старой фотографии диковатая и смешная молодость города. На ней все молодо и непривычно. Вот растет на первом плане тонюсенькое дерево, коленчатое, с ветвями только у самой вершины, такое, какое теперь никогда не встретишь на улицах Алма-Аты. Сейчас от самых гор до вокзала несется сплошной поток

не умолкающей ни на минуту зелени. Она такая густая, что даже фонари здесь тоже кажутся зелеными. А на снимке торчит что-то узловатое, кривое, несуразное. Но ведь я отлично знаю это дерево. Оно и до сих пор растет там же, на углу Красина и Горького. Под ним у меня и встречи были разные, и свидания я назначал там. Это такой же чернокожий, шумливый великан, как и все его собратья, что ныне сторожат улицы Алма-Аты. Значит, сколько же лет этому снимку? Тридцать, сорок, пятьдесят? Еще больше?

Стоит перед открытой дверью магазина понурая лошаденка с телегой, а на ней сидит кто-то, свесив ноги в сапогах, и ждет. Еще одна лошадь идет снизу — я знаю, с мучного рынка, от лабазов купца Шахворостова. Сейчас здесь заводское здание, но я застал еще эти белые, приземистые, слепые строения, похожие на монастырскую стену. Идут быстрым, бодрым шагом двое мужчин — тоже в сапогах (семиреки не любят ботинок). На ступеньках сидят (смотрю уже в лупу) две старухи, а около них раскрытые мешки. Неужели продают семечки? А здесь ведь, похоже, не расторгнешься, милые! Считаю: двое идут, двое сидят на телегах да еще две — значит, всего шесть человек. Подумать только! Шесть человек в яркий солнечный день на протяжении двух кварталов самой людной в городе улицы!

Итак, ранняя весна какого-то фантастически далекого года — десятого или одиннадцатого — возле узорчатого строения Зенкова. Я люблю рассматривать старые снимки тех мест, по которым хожу уже добрых полсотни лет. На них все смещено во времени и на все проливается какой-то новый, резкий, боковой свет. Вещи от него молодеют, люди улыбаются и становятся во фронт, старые, вросшие в землю здания снова вздымают свои фасады и резные узорчатые главы.

Однажды в ясный весенний день какого-то из этих годов бродячий фотограф (представитель Всемирного почтового союза, как значится на открытке) установил здесь на мостовой свой треножник, мановением руки разбросал зевак и щелкнул объективом. Это было лет пятьдесят тому назад; и вот через полстолетия я смотрю на все, что он увидел, его

же глазами. Он удивлялся — и я удивляюсь. Он радовался всем этим необычайным куполам, радугам и шпилям — и я радуюсь.

А о строителе этого великолепия я и сейчас знаю не так уж много. Знаю, что он был военным инженером (“фортификатором”, как тогда говорили) и строил не только быстро и пышно, но еще — и это главное — крепко. А это в Верном ценилось превыше всего.

У города Верного в то время была тревожная и плохая слава. Его знали как край света и гнездо землетрясений необычайной разрушительной силы, как город на вулкане.

Говорили, что в городе Верном надо строить либо глухие деревянные коробки, либо одноэтажные, плоские, прижатые к земле дома с толстыми стенами и мощными фундаментами.

Но Зенков возражал: нужны цемент, железо и дерево. И вот он начал возводить из тянь-шаньской ели многоэтажные здания, окружал центр обширными дворцами и наделял эти дворцы всем тем, что должно было неминуемо рухнуть при первом же толчке, — шпилями, куполами, башнями. Он как бы смеялся над разрушительной силой землетрясения, дразнил ее.

С глубокой верой за успехи будущего я не боюсь за наш город, — писал Зенков в “Семиреченских областных ведомостях”, — за нашу Семиреченскую и в то же время сейсмическую область. Я верю в ее будущее, я верю, что... наш город украсится солидными, в несколько этажей, каменными, бетонными и другими долговечными строениями... При специальном устройстве фундаментов... вполне допустима конструкция грандиозных по высоте, до 30–40 этажей... зданий...

И дальше:

Наблюдательный ум человека, его энергия, гений творчества, покоряющий стихийные силы природы (замечательные

* Номера от 8 и 10 марта 1911 г.